

Нилушка. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Нилушка. Максим Горький

Деревянный город Буев, не однажды дотла выгоравший, тесно сжался на угорье, над рекой Оберихой; дома с разноцветными ставнями, приникнув друг ко другу, запутанно кружатся около церквей и строгих присутственных мест; улицы, расторгая их тёмные кучи, лениво расползлись во все стороны и откидывают от себя узкие, как рукава, переулки; переулки слепо натываются на заборы огородов, стены амбаров, и, когда смотришь на город сверху, с горы, кажется – кто-то помешал его палкой и всё в нём рассеял, насмех перепутал.

Только одна Большая Житная, тяжело поднимая от реки на гору каменные дома купцов, – в большинстве из немцев-колонистов, – режет, прямо и сурово, тесные груды деревянных построек, зелёные острова садов, отодвигает в сторону церкви и, проходя через Соборную площадь, тянется – всё так же неуклонно прямо – в неплодное поле, покрытое дёрном, к сосновому бору Михаил-Архангельского монастыря, – монастырь почти невидимо скрыт за рыжею стеной старых сосен, подпирающих небо, и только в яркий, солнечный день сквозь тёмную зелень хвои приветно сияют золотые кресты – жёлто-огненные птицы всегда немного, сказочного леса.

Домов за десять перед тем, как выйти Житной в поле, от неё налево потянулись к оврагу и спустились в него маленькие, в одно и два окна, присевшие к земле кельи слободы Толмачихи, основанной дворовыми людьми именитого помещика Толмачёва, который раскрепостил своих рабов за тринадцать лет до законной воли и за это был весьма горько обижен царём Николаем Павловичем, так что, с обиды, ушёл в монастырь, где десять годов молчал и помер в тихой неизвестности, потому что богомолам и странникам не показывали его, запрещено было вышней властью.

Как построились толмачи, приписавшись в мещане, полсотни лет тому назад, так и живут в девятнадцати хижинах и даже ни однажды не горели, хотя за это время город – исключая Житную – понемногу весь выгорел, – где в нём землю ни копай, всюду найдёшь неистребимый уголь.

Стоит слобода – как сказано – на краю и по склону одного из рукавов глубокого ветвистого оврага, окнами к разинутому устью его; оно открывает вид на Мокрые луга за Оберихой и болотистый, еловый лес, куда опускается на ночь мутнокрасное солнце.

Овраг растопырился по всему полю, обходя город со стороны заката: он вычурно изгрыз суглинистую землю и каждую весной всё больше пожирает земли, сносит её в реку, заваливая течение Оберихи, отводит мутную воду всё дальше в луга – широкие луга становятся помаленьку болотом. Овраг зовут Великим, обрывистые бока его густо поросли тальником, ракистой и бурьяном, летом в нём прохладно, сыро, и тогда он служит уютным местом свидания влюблённых бедняков города и слободы, местом их пирушек и нередких смертных драк, а зажиточные горожане сваливают в него мусор, трупы издохших кошек, собак, лошадей.

По дну оврага бежит, сладко звеня, Жандармский ключ, славный во всём Буеве вкусом кристальной студёной воды, такой студёной, что от неё и в знойный летний день зубы ломит; слобожане-толмачи считают эту воду своей, целебной, гордятся ею, пьют только её и оттого живут долго, – некоторые уже и не могут сосчитать свои года. Мужчины слободы занимаются рыбной ловлей, охотой, птицеводством, воровством; кроме сапожника Горькова – чахоточного, худого, как скелет, и прозванного Чуланом, – в слободе нет ни одного ремесленника. Бабы – зимою шьют и чинят мешки на мельницу Зиммеля, щиплют паклю, летом – ходят в монастырский бор по грибы, по ягоды и в лес, за реку, по клюкву; есть две знаменитые гадалки, две – сводничают ловко и успешно. Город, конечно, всех мужчин-слобожан считает ворами, всех женщин и девиц – распутницами; город всячески старается стеснить, искоренить слободу, но всё-таки немножко боится толмачей: подожгут, обокрадут, а могут и убить; толмачи презирают горожан за их скопидомство, чёрствость, жадность и болезненно завидуют их крепкой, сытой жизни.

Слобода так бедна, что и нищие не заходят в неё, – разве только в пьяном виде.

Тощие собаки, питаясь неведомо чем, воровато бродят со двора на двор, поджав

Нилушка. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

хвосты в репьях, вывесив бескровные языки; завидя человека, они стремительно бегут в овраг или покорно и раболепно ложатся на брюхо, ожидая неизбежной ругани, а то – пинка.

Из каждой щели, каждого дома, сквозь радужные стёкла окон, с крыш, чиненных лубками, поросших бархатистым мохом, отовсюду, безнадежно и мертво, смотрит всё подавляющая русская нищета.

На дворах толмачей растут ольха, бузина и всякие сорные травы, обильный репейник высовывается на улицу сквозь щели заборов, хватая проходящих за ноги, за подола, под заборами густо жмётся крапива, коварно обжигая малых ребят. Все дети – худенькие, голодные, все очень раздражительны, часто дерутся, подолгу плачут. Их немного, почти каждую весну в слободе бывает дифтерит; скарлатиной и корью болеют повально, как взрослые тифом.

Из всах звуков жизни в слободе чаще всего слышен плач и дикая ругань, но вообще в ней живётся тихо, уныло, и даже кошки весною мяукают негромко, подавленно.

Поёт, когда она выпивши, одна фелицата, баба озорница, хитрая и сводня; поёт она каким-то особенно густым и словно шершавым голосом, с хрипотцой, с надрывом, закрыв глаза и далеко выгибая кадык.

Только бабы неугомонно суетливы, истерично шумны; целый день они, высоко подоткнув подола, бегают вдоль улицы, выпрашивая друг у друга щепотку соли, мучки, ложку маслица; ругаются, режут, бьют детей, тискают во рты маленьких иссосанные груди и снова – бегают, вертятся. орут, неустанно налаживая печальную жизнь. Все они истрёпаны и грязны, у них дряблые щёки и на костлявых лицах – беспокойные глаза воровок, а если женщина полна, значит – больная, глаза её тусклы и походка тяжела. Но почти все до сорока лет каждую зиму беременеют и весною выходят на солнце с огромными животами и синевою истощения вокруг глаз, это не мешает им работать с тем же напряжением отчаяния, как работают они и порожние. Они – точно иголки и нитки: чья-то хлопотливая, упрямая рука хочет заштопать их силой гнилую ткань, а она всё расползается, рвётся.

Первым человеком в слободе считается мой квартирохозяин Антипа Вологонов, маленький старичок, торговец "случайными вещами" и закладчик.

Он страдает застарелым ревматизмом, ноги в коленях выворочены у него, пальцы на руках кривые, опухли, не гнутся; он всегда держит руки в рукавах; кажется, что они не нужны ему, вынимает он их редко, осторожно, как бв боясь сломать.

Никогда не сердится, не горячится.

– Этого мне нельзя, – говорит он, – у меня сердце распухло и может лопнуть!

Скуластое лицо его, изрытое какими-то тёмнокрасными шрамами, спокойно, как у киргиза, на подбородке висят прямые нити серых, рыжих и жёлтых волос, они почему-то влажны. Косоватые изменчивые глаза прищурены, от густых разноцветных бровей на глазницы падают тени, на висках, под редким волосом, бурно бьются синие жилы, и весь он вызывает впечатление чего-то пёстрого, неуловимого.

Ходит раздражающе медленно, чему очень способствует странного покроя им самим придуманная одежда – смесь рясы, сарафана и поддёвки, – полы её связывают ему ноги, тогда он, остановясь, дрягает ногами, поэтому полы оборваны, обиты.

– Торопиться некуда, – объясняет он, – к своему месту на погосте всегда во-время доспеешь!

Он говорит витиевато, очень любит церковные слова и всегда после них молчит немножко, как бы мысленно ставя за ними большую, тяжёлую, чёрную точку; говорит он со всеми и много, явно стараясь утвердить за собою ещё более крепко славу умного старика.

Хижина Вологонова, в три окна на улицу, разделена переборкой на две неровные комнаты; в большой, с русской печью, живёт сам он, в маленькой я. Сенями отделена клеть, где под тяжёлым, старинным замком на двери, обитой кусками железа и жести, Антипа хранит заклады соседей: самовары, иконы, зимнюю одежду. Большой фигурный ключ от этой кладовой он носит на ремне суконных брюк за

Нилушка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

спиною, и когда приходит полиция посмотреть, нет ли у него краденых вещей, он долго, большими руками, передвигает ключ со спины на живот, долго отвязывает его и солидно говорит окологлавному или помощнику пристава:

- Никогда криминальных предметов я не держу. Ваши благородия, помнится мне, неоднократно удостоверились в этой правде обидной...

Когда он садится, ключ стучит о спинку или сиденье стула, и Вологонов, с трудом загибая руку за спину, щупает, не отвязался ли ключ? Мне, сквозь переборку, слышен каждый вздох старика, понятно каждое движение его.

Вечерами, когда мутное солнце опускается за рекою в сердитую щетину елей и даль, открытая мохнатым устьем оврага, дымитя лиловатым туманом, Вологонов садится у окна за стол, перед кургузым самоваром, с помятыми боками и злой, зелёной окисью вокруг решётки, крана, ручек.

То и дело раздаются в тишине вечера властные вопросы, уверенно ожидающие точных ответов.

- Дарька, - куда?

- На клю-уч, по воду-у, - жалобно поёт тонкий голосок.

- А как сестра?

- Мучиится всё ищѐ...

- Ну, иди...

Старик легонько кашляет, очищая горло, и потом поёт дрожащим фальцетом:

Сладкою стрелою

Быв уязвлена,

Страстью огневою

Я воспалена...

Шипит и булькает самовар; на улице - тяжѐлые шаги и мрачный голос говорит:

- Он думает, что ежели он городской, так непременно умный...

- Зазнаются очень люди...

- А я всем его мозгом сапога себе не помажу...

Прошли, и снова вьется фальцет-старика:

- "Нищих людей озлобление"... Минька, стой! Подь сюда, сахару дам. Что отец, - пьяный?

- Отрезвел, давеча капусты с квасом нахлебался.

- Чего делает?

- Сидит за столом, думает...

- Бил мать-то?

- Нет ещѐ.

- А она что?

- Спряталась...

- Ну, ступай, бегай...

Нилушка. Максим Горький gorkiytext.ru

Под окном неслышно является Фелицата, сорокалетняя женщина, с ястребиным взглядом холодно-весёлых глаз и плотно сложенными в незаметную улыбочку яркими губами красивого рта. Она тоже знаменита в слободе – сын её, Нилушка, – блаженный; знаменита она ещё знанием всяких обрядов и великим умением вопить по усопшим, по рекрутам. У неё перебито бедро, и ходит она, сильно припадая на левый бок.

Бабы говорят, что Фелицата носит в себе "барскую кровинку", вероятно, это внушено холодной ласковостью, с которой Фелицата относится ко всем людям. Но и кроме этого в ней есть что-то особенное. У неё узкие, с длинными пальцами, ладони, величавая посадка головы, и в голосе её всегда звучит нота металлическая, хотя и ржавая, тусклая. Говорит она обо всём – и о себе самой – грубо, откровенно и в то же время так просто, что хотя и тяжело слушать её речи, но назвать их грязными – не решаешься.

Однажды я слышал, как Вологонов упрекал её за то, что она не умеет жить.

– Потерпела бы немножко, ан, глядишь, и барыня! Госпожа своей жизни...

– Бывала я, друг, госпожой-то, – отвечала она, – это мною очень испытано! Животу моему такие ли орлы кланялись, бывалочка... уж и не знай, как я не ослепла от жару-полюмя бесстыжих зёнок ихних! А уж оцелована – как есть вся! Баба в любой раз госпожой быть может, – всего и дела только рубаху сбросить, если господь телом одарил. Нет, друг, на своей воле лучше! Я себя по земле несусь вроде ковша браги – пей, кому хочется, покуда есть чего пить...

– Ну, и бесстыже говоришь ты, – вздохнув, сказал Вологонов.

Она засмеялась.

– Глядите-ко, непорочный какой!

Антипа говорит с нею вполголоса, осторожно, она отвечает громко и немножко вызывающе:

– Заходи чайку попить, – приглашает он, высовываясь в окно.

– Не хочу. Ой, чево я про тебя узнала...

– Не зевай! Чего это?

– Да уж узнала-таки...

– Нечего про меня узнать...

– Всё дознала!

– Всё знает токмо один господь, создавший от сущих всяческая.

Они долго шепчутся, потом Фелицата исчезает так же неслышно, как явилась, а старик долго сидит, не двигаясь, и наконец вздыхает тяжело, ворчит:

– Охо-хо! Излия Змий яд во слухи Евины... Помилуй мя, боже, помилуй мя...

Но сердечного сокрушения не слышно в этих словах; мне всегда кажется, что старик любит их не за смысл, а только за то, что они особенные, – не обычные, слободские.

Иногда он стучит в переборку обмызганным аршином, в котором не более пятнадцати верхков, стучит и зовёт:

– Стоялец! Чайку испить компанейски, – не хочешь ли?

В первые дни знакомства он относился ко мне очень подозрительно, видимо считая меня полицейским сыщиком, потом стал смотреть в лицо моё с насмешливым любопытством. И всегда поучает:

– А читывал ты "Потерянный и развращённый рай"?

- Возвращённый.

Он отрицательно мотает разноцветной бородою:

- Рай был потерян Адамом, потому что развращён Евою, а возратить его господь не мог, - кто достоин возвратиться в сени райские? Никто!

Спорить с ним - бесполезно: молча выслушав возражение, он никогда не пытается опровергнуть его, а просто ещё раз тем же тоном и буквально повторяет свои слова:

- Рай был потерян Адамом, потому что развращён Евою...

Чаще всего он говорил мне о женщинах:

- Как ты есть молодой человек, то керминальный предмет этот стоит для тебя поперёк всего, ибо "род человек поработан мучительным грехолюбием", сиречь - Змием. Женщина - первая помеха всякому делу в жизни сей, как утверждает всеми историями; от неё же главное беспокойство, "ядом исполненна, Змий зубы в тебя вонзе", - Змий же суть плотское вожделение. Змием возбуждены, греки разрушали даже города целые: Трою, Картагену и Египет; из-за любовной страсти к сестре Александра Павловича Наполеон на Русь приходил. Мухамеданские нации - а также и жида - понимают это издревле, они женщину держат в полном затмении, на заднем дворе. А у нас безобразная распущенность, под руку с бабами ходим, и даже дозволено им лекарихамм быть, зубы дёргают и прочее, тогда как следовало бы пускать их не дале повивальных бабок. Женщина должна служить для приплода, почему и дано ей зазорное имя: "неискусобрачная невесто".

Около печи, на грязной стене, оклеенной "обязательными постановлениями" и рыжими листами каких-то рукописей, толчётся, щёлкает маятник небольших часов; на одной гире привешен молоток и подкова, на другой - медный пест. Множество икон в углу поблескивает серебро "аплике" и золочёные венчики над чёрными кружками лиц. Чело тяжёлой печи скучно смотрит в окно на зелёные сады Житной, за оврагом, там светло и красочно, а в конуре Вологонова стоит пыльный сумрак, запах сушёных грибов, листового табаку, конопляного масла.

Спокойно помешав истёртой ложечкой очень крепкий, перепаренный чай, он нюхает ложечку и говорит, вздохнув:

- Я всякую жизнь испытал, я всё знаю, меня надобно слушать со вниманием и все слушают, кто - живая душа, а о прочих сказано: "В доме Давидовом страшная совершаются: огонь бо там попаляя всяк срамной ум".

Слова его - точно кирпичи и холодно возводят всё выше вокруг меня тяжкие, тёмные стены каких-то странных, ненужных событий, непонятных драм.

- Полуконов, Митрий Ермолаев, бымший градским головой, отчего преждевременно помер? От неподобающих затей: отправил старшего сына в Казань, якобы для науки, а тот на второе лето жидовочку кудрявую привёз с собой и говорит: "жить без неё не могу, в ней вся душа моя и вся моя сила!" Вот оно! С того и началась разруха: Яшка - пить, жидовка - плакать, а Митрий ходит по городу сам не свой и приглашает всех: "Глядите, людие и братия, до чего я дожил!" И хоша она жидовка, сделавши неправильно выкидыш, с того издохла, потеряв всю кровь, но - прежде не взыграло: Яшка окончательно пропал - спился, а отец - "смерти преждевременно жертва ночная". Разрушилась жизнь, а причина тому "терноносный еврейский сонм". Но однако и еврей своей судьбы человек, судьбу же палкой не погонись, судьба наша ленивая, идёт она тихо, - тихо идёт, а перегнагь нельзя!

Глаза его всё время меняют цвет: то они мутносерые, усталые, то голубеют и печальны, чаще всего в них сверкают зелёные искры равнодушного злорадства.

- И Капустины, семья крепкая, разбилась в прах, в ничтожество. Всё хотели перемен, располагались по-новому, рояль завели. Только Валентин ещё на ногах, да и тот синий пьяница, хоша и доктор. Отёк весь, хрипит, глаза рачьи, страшные - выворотило, а сорока годов ещё не прожил! Так и Капустиных "мертвыми показа"!

Он говорит с непоколебимой уверенностью, что иначе не может, не могло быть, -

Нилушка. Максим Горький gorkiyamaxim.ru  
бестолковые, нелепые явления жизни неизбежно законны.

– То же будет и осьмухиным: не дружи с немцами, не заводи дела никчемного! Она, – пивной завод строить измыслили. У нас тут всякая баба пиво может варить, народ-то наш не пьёт его, к вину привык. Народ у нас сразу хочет достичь желаемого: шкалик водки действительней пяти кружек пива ошеломит... У нас народ любит простоту во всём: родился человек слеп, а вдруг – прозрел! Это – перемена! Илья Муромской тридцать три года сиднем сидел, выждал время да – пошёл! А которые не умеют ожидать в окружении скромности...

За окнами по красному небу белыми лебедями плывут в даль облака; овраг лежит на земле медвежьей шубой: кто-то сказочно огромный сбросил её с широких плеч и, должно быть, – ушёл, убежал за луга, за леса. Многое вокруг напоминает старинную, жуткую сказку, больше всего сам Антипа Вологонов, человек, который страшно много знает о неудачах жизни людской и любит рассказывать о них.

На минуту замолчит, со свистом схлёбывая сложенными бантиком губами рыжий чай с блюда, прочно поставленного на растопыренные пальцы правой руки, потом, обсосав мокрые усы, снова, ровным голосом, начинает размеренную речь, точно читая псалтирь.

– Видал, на Житной, лавочку Асеева, старика? Было у него десятеро сыновей, шестеро до возраста примерли: старшой – певчий хороший – был сумасброд, книгочей – и, будучи в солдатах денщиком, в Ташкенте начальника своего с женою прирезал, а сам пристрелился. Есть слушок, что он с женой-то начальниковой любовью крутил, а она ему отказала, снова к мужу прилегла. Григорий в вышних училищах учился, в Петербурге, и – с ума сошёл. Лексей тоже по воинской части пошёл, по коннице, а теперь в цирках ездит и пьянствует, наверно. А самый младший, Николай, бежал из дому в молодых ещё годах и, неведомыми путями, оказался в Норвежской земле, в холодных морях рыбу какую-то ловит. Извратился, забыл, что у нас своей рыбы предостаточно – довольно! А тем временем отец всё своё имение в монастырь отписал, – вот те и рыба холодных морей!

Он понижает голос и как-то по-собачьи сердито ворчит:

– Тоже вот и у меня дети были. Один убит в сражении при Кушке, – я об этом бумагу имею; другой в пьяном состоянии потонул, трое померли во младенчестве. Двое – живы: об одном знаю, что швейцарцем служит в Смоленске при гостинице, другой, Мелентий, пошёл по духовной части, в семинарии учился, ещё куда-то понесло и – пропал! В Сибирь заслали. Вот как. Русский человек – лёгкий, ежели он себя не забьёт куда-нибудь в одно место по самую голову, то обязательно летит, ветром гоним, подобно куриному перу. Семиверы все мы и будоражные. Я-де рыболов, а не просто – безголов. Не понимает молодость низости своей. Ждать не умеет...

Речь старика течёт, как вода из водосточной трубы в непогожий, холодный день осени; покачивая серой бородою, он говорит, говорит, и постепенно я начинаю думать, что именно он злой колдун и хозяин этой от всего далёкой земли, болотистой, изгрызённой оврагами, неплодной. Это он нарочито неуютно сунул город в глинистую лощину, смешал, сбил в кучи дома, спутал улицы; он равнодушно творит непонятно грубую и жестокую, убийственно скучную жизнь; он набивает головы людей бессвязной жуткой чепухой, сушит их сердца страхом перед жизнью. В долгую, шестимесячную зиму гонит с поля на город злые вьюги, сжимает дома морозами так, что брёвна трещат и жгучий холод насмерть бьёт птицу; летом почти ежегодно насылает страшные ночные пожары, и они слизывают кучи домов.

Он молчит, двигая зубастыми челюстями, борода его трясётся, в глазах синеватый, угарный огонь, кривые пальцы шевелятся, точно черви.

Теперь он и внешне похож на злого колдуна.

Однажды ч спросил:

– Чего же людям ждать-то?

Он долго дёргал себя за бороду, щурил глаза, приглядываясь к чему-то сзади меня, и наконец тихо, внушительно ответил:

Нилушка. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Придет некогда человек странный и возгласит миру собезначальное слово. Кто знает, когда придет он? Никто. Кому ведомо чудеса творящее слово его? Никому же...

Мимо окна моей комнаты плывёт, подпрыгивая, прекрасная, в золотых кудрях, голова дурачка Нилушки, как будто сама земля любовно подбрасывает его. Он похож на ангела древнего письма с южных или северных врат старенькой церкви; его смуглое лицо закопчено дымом воска и масла, васильковые глаза светятся неземною, холодной улыбкой. Он в розовой - ниже колен - рубахе, ступни ног у него чёрные, в цыпках, тонкие икры стройны, белы, как у женщины, и покрыты золотым пухом.

Прыгая на одной ноге и улыбаясь, он взмахивает руками, - широкие рукава и полы рубахи взлетают на воздух, - Нилушка точно тёплым облаком окутан и поёт детским голосом, пришепётывая, заикаясь:

О-осподи, помилуй!

Во-олоки б'егут,

Шоба-баки б'егут,

Ок'отники стоят,

Волоков стелегут!.. Осподи, помилуй!..

Поёт и - весь светится тёплым светом всему чужого веселья, лёгкий такой, приятный, внутренне чистый, легко вызывающий добрые улыбки, мягкие чувства. Когда он на улице, - слобода живёт тише, кажется благообразнее, люди смотрят на безумца более ласково, чем на своих детей, кажется, что даже самым злым он близок и мил. Летя в золотисто-пыльном воздухе, его тонкая, стройная фигурка, должно быть, всем одинаково напоминает церковь, ангелов, бога, рай; все смотрят на него каким-то общим взглядом: задумчиво, немножко испытующе, немножко боязливо.

Но вот он увидел лживый блеск осколка стекла, наглое сверкание меди, отражающей солнце, - он сразу останавливается, сквозь кожу его лица проступает серый мёртвый пепел, улыбка исчезла, помутившиеся глаза отупели, неестественно выкатившись. Он весь изгибается, смотрит, торопливо крестясь худенькой ручкой, ноги его мелко дрожат, а рубаха точно струится вдоль тонкого, некрепкого тела. Немой ужас делает каменным его круглое лицо. Он может стоять так час и более, полумёртвый, до поры, пока кто-нибудь не отведёт его домой.

Говорят, что он и родился "придурковатым", а окончательно обезумел пять лет тому назад, во время большого пожара, и с той поры всё, что похоже на огонь, - всё, кроме солнца, - вызывает у Нилушки оцепенение тихого ужаса. Слобожане часто толкуют о нём:

- Вот дурачок, а - помрёт, - может, святой будет и все припадём к нему и поклонимся...

Но иногда над ним жестоко шутят: он идёт, подскакивая и напевая детским голосом, а кто-нибудь сучающий вдруг крикнет из окна или в щель забора:

- Нилушка - горим!

Ангелоподобный дурачок, как подрубленный под колени, падает грудью на землю и, в судорогах, охватив золотистую голову всегда грязными руками, катится по земле к забору, к дому, в тень, обнажая и пачкая в пыли отроческое тело своё.

А испугавший, посмеиваясь, сожалительно восклицает:

- Ах ты, господи... до чего глуп парнишка!

Спросишь:

- Зачем вы его пугаете?

- Забавно всё-таки! Он ведь по-человечьи не чувствует, людям же охота пошутить.

Всё понимающий Антипа Вологонов внушительно поясняет:

- И Христа пугали, и Христос был гоним. А - чего ради? Ради испытания в прямоте и силе. Людям обязательно надобно знать, что есть настоящее и что - не есть настоящее. Очень много на земле греха-горя оттого исходит, что часто за настоящее принимается предстоящее и люди торопятся поспешно, тогда как надо тихо ожидать, испытывая.

Он относится к Нилушке внимательно и часто беседует с ним.

- Богу молись, - говорит он, указывая кривым пальцем в небо, а другою рукой дёргая свою трёпаную, пёструю бороду.

Нилушка, боязливо глядя на тёмный палец, быстро тыкает себя щепотью в лоб. плечи, живот и тоненько, жалобно поёт:

- Оче нас неси...

- Иже еси?..

- Неси на небеси...

- Ну, ладно, бог поймёт, он блаженненьким близок.

Нилушку интересует всё шарообразное, и он очень любит щупать черепа детей: подойдёт тихонько сзади к ребятишкам и вдруг с тихой, светлой улыбкой положит на чью-нибудь гладко остриженную голову свои тонкие, костяные пальцы.

Дети не терпят этих прикосновений, пугаются их, бегут прочь и дразнят издали дурачка, показывая ему язык и натягивая носа:

- Нилка, бутылка, башка без затылка!

Он не боится их, и они его не бьют, разве иногда бросят в него стоптанным башмаком, чуркой, но и бросают не целясь, не желая попасть.

Круглое - колёса игрушек, блюдечки - тоже возбуждает внимание Нилушки, но мячи и шары он любит, гладит, ласкает их, а круглый предмет, видимо, волнует его: он быстро вертит его в руках, щупает плоскости и бормочет:

- А - другое?

- Понять бы, что значит - другое? - озабоченно говорит Антипа и, притягивая к себе дурачка, допытывается:

- Зачем тебе другое?

Нилушка боится, дрожит, пытается сказать что-то непослушным языком, пальцы его быстро вертят круг:

- Нету...

- Чего нет?

Тут - нету...

- Н-да, глуп достаточно, - вздыхая, говорит Вологонов, и глаза его задумчиво синюют.

- Дурак, а позавидуешь...

- Чему?

- Вообще. Проживёт без заботы, в сытости и даже в почёте у всех. Понять его нельзя, и все пред ним ходят в страхе, - всем известно, что безумные да блаженные любезны господу превыше умников. Дело - премудрое, особенно ежели вспомнить, что блаженные - во святых, а дерзновенные - где? Вот оно...



И Вологонов, вдумчиво хмуря густые, с чужого лица брови, прячет руки глубоко в рукава, не отводя от Нилушки испытующего взгляда неуловимых глаз.

Фелицата нетвёрдо помнила, кто именно был отцом её сына, я знал, что она называла двоих, какого-то "межевого студента" и купца Выпороткова всему городу известного силача, буяна и гуляку. Но однажды, когда она с Антипом и со мною сидела у ворот, балагуря, и я спросил её, жив ли Нилушкин отец, – она пренебрежительно сказала:

– Жив, да пёс ли в нём!

– А кто он?

Как всегда облизывая кончиком языка сухие, красивые губы, она ответила:

– Монашек один...

– Это – всего проще! – вдруг живо воскликнул Вологонов. – Это самое бы доступное уму.

Он долго и нимало не стесняясь подробностями, объяснял, почему именно монашек мог быть родителем Нилушки предпочтительно пред купцом и "межевым", говорил и, несвойственно для него, горячился; даже всплеснул руками, но тотчас же охнул от боли, сморщился и уже с упреком сказал женщине:

– Что же это ты раньше-то болтала?.. Эх, зря!

Фелицата, улыбаясь, присматривалась к старику, в карих зрачках её горел насмешливый и наглый огонёк.

– Я была тогда хорошая, всем желанная, сердца доброго, нрава весёлого, – пела она, жмурясь и притворно вздыхая.

– Монашек – это бо-ольшое обстоятельство! – задумчиво сказал Антипа.

– Очень меня мужчины изыскивали для радостей своих, – вспоминала Фелицата.

Вологонов приподнялся, побрякивая, дёрнул её за рукав сатиновой кофты цвета бордо и строго сказал:

– Пойдём-ка ко мне, дело есть некое!

Она усмехнулась, подмигнув мне, и – пошли: старик – бережно передвигая изуродованные ноги, женщина – точно примеряясь, как бы удобнее ей свалиться на левый бок.

С этого вечера почти ежедневно Фелицата приходила к Вологонову, часа по два они пили чай, и я слышал сквозь переборку неутомимый, поучающий мерный голос старика:

– А слушочки, слушки эти надобно пускать осторожно, с сомнением: говорит-де невразумительно, а кое-какой смысл – есть, и будто прорицает...

– Разумею...

– Потом сон какой-нибудь, к делу подходящий, надобно тебе увидеть. Напримерно: исходит из претёмного леса старец некий, глаголет: "Фелицата, раба божия, грешница душесмрадная..."

– Ну, заскрипел...

– Помолчи, неразумие! Бывает – и хула над собою выгоднеполезней хвалы. Да, так значит, видишь-слышишь ты: "Фелицата, повелеваю тебе, – иди прямо и сделай то, о чём тебя встречный попросит!" Ну, ты и пошла бы, а он – тут и есть, монашек-то...

– А-а-а, – догадливо тянет женщина.

- То-то! Дурёха...
- Вот как, значит...
- Али я худу научил кого?
- Ну-ну-ну...
- У меня тут ума на тыщу человек да ещё с гаком...
- Это - известно, - согласилась Фелицата.

В другой раз Антипа сожалительно ворчал:

- Нехорошо, что слова у него всё простые! Не подходят они в эдаком деле, тут нужны слова тёмные, многозначные, - многозначность слов скорее внушит людям почтение-внимание к ним.
- Это - зачем? - спросила Фелицата.

Вологонов сердито объяснил:

- Зачем, зачем! Почитать-то надо кого-нибудь али нет? Он почёту достоин, будучи вовсе безвредным для людей, да безвредные-то незаметны. И тебе надо заняться этим - учить его словам иных красок, помудрёней, позвончей...
- Да я не знаю никаких эдаких-то...
- Я те скажу, а ты, когда он спать ложится, внушай ему. Напримерно: "Адом исполнены - покайтесь!" Слова тут нужны церковные, строгие: "душеубийцы, пожалейте бога, окаяннии!" Гляди, - не "окаянные", а "окаяннии"! Хоша... это, пожалуй, крутенько, негодно... Ну, да я сам займусь этим исподволь...
- Уж ты лучше сам...

Вологонов начал всё чаще останавливать Нилушку на улице, ласково внушая ему что-то, а иногда брал за руку, вёл к себе в комнату и там, угощая дурачка чем-то, просил сладко:

- Ну-кося, скажи: не торопитесь, людие? ну?
- фонарик, - кротко говорил Нилушка.
- фонарик, говоришь? Н-да. Ну, ладно; скажи: фонарик я вам...
- Петь надо.
- Это ничего, пой, это очень подходяще! Однако и говорить надо тоже. Скажи-ка: круговращение Велиалово! Говори, ну?
- О-осподи, помилуй, - тихонько, задумчиво поёт дурачок и вдруг говорит ласковым голосом ребёнка:
- Помирать надо...
- На-ко, вот! - огорчённо восклицает Вологонов. - Бухнул чего! Это и без тебя. дружок, известно. поспеем, помрём. Воистину, глуп ты свыше всякой надобности в этом! Пустодействие выходит у нас. Ну-ко, выговори: пустодействие?
- Шобабаки...
- Собаки? Годится. Ах ты, цыплёнок!
- Шобабаки цыплёнками бегут туда-туда - ух! - овраг... - бормочет Нилушка, точно трёхлетний.
- Это можно принять иносказательно, это ничего, многозначно! А теперь скажи:

Нилушка. Максим Горький gorkiymaxim.ru  
"Разверзнется пропасть на пути поспевающего", - ну-ко?

- Петь надо...

Тяжело и шипуче вздыхая. Вологонов говорит:

- Трудно с тобою всё-таки!

Он осторожно шаркает по полу больными ногами, а тоненький голосок дурачка выводит:

- Осподи, поми-илуй...

Красавец Нилушка был необходим в грязной, нищенской и больной жизни слободы, он оттенял и завершал собою её ненужность, бессмыслие, безобразие.

Был он подобен яблоку, забытому на старой, кривой яблоне, сплошь покрытой лишаями, - с неё уже сняты все плоды, она сбросила все листья и дрожит на осеннем ветре; был он похож на картинку, единственную в истрёпанной, запачканной книге без начала и конца, - книге, которую уже нельзя и не стоит читать - ничего не поймёшь в ней.

И когда он, улыбаясь ласково, шёл мимо приплюснутых, гнилых домов, мимо щелявых заборов и буйных зарослей крапивы, такой сказочный и жалобный, в памяти вставали, со страшной быстротой, сменяя друг друга, образы лучших и любимых людей русской земли: бесконечной вереницей мимо сердца шли житийные люди, в страхе за душу свою удалившиеся от жизни в леса и тущобы, от людей к зверям. Вспоминались стихи слепых и нищих, песнь об Алексии, божьем человеке, а множество красивых, но безжизненных образов, в которые Русь вложила свою напуганную, печальную душу. своё покорное, певучее горе. Было очень тяжело, почти до безумия.

Но однажды я как будто забыл, что Нилушка - дурачок, - непобедимо захотелось говорить с ним, читать ему хорошие стихи, рассказывать о юных надеждах мира и о своих думах.

Я сидел на обрыве оврага, свесив ноги вниз, а он, точно плывя по воздуху, шёл ко мне с широким листом лопуха в тонких, как у девочки, пальцах, шёл он и, весь какой-то голубой, улыбался, ясными глазами глядя на лист.

- Куда ты, Нилушка?

Он вздрогнул, поднял голову, взглянул в небо и - боязливо - в синеватый сумрак оврага, а затем уже протянул мне лопух: божия коровка ползала по морщинам лопуха.

- Букан.

- Куда ты несёшь его?

- Помирать надо. Хоронить.

- Он - живой. Живых не хоронят.

Нилушка дважды медленно закрыл и открыл глаза.

- Надо петь...

- Ты скажи мне что-нибудь!

Он заглянул одним глазом в овраг, розовые ноздри его вздрогнули, расширились; вздохнув, он скучно выговорил похабное слово. На шее у него, ниже правого уха, крупная родинка, густо покрытая золотисто-бархатным волосом, она похожа на пчелу; около неё слабо бьётся жила и странно оживляет ее.

Божия коровка приподняла надкрылья, собираясь лететь. Нилушка хотел придержать её пальцем и выронил лист, а пока лопух падал, насекомое отделилось от него и полетело низко над землёй. Согнувшись, вытянув руки, дурачок тихо пошёл вслед за

Нилушка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

ним, точно направляя ленивый его полёт. Шагах в десяти от меня он остановился, поднял лицо в небо и долго стоял так, опустив руки вдоль тела, вытянув ладони горизонтально, как бы опираясь ими на что-то невидимое мне.

Из оврага тянутся к солнцу зелёные прутья вербы, какие-то скучно жёлтые цветы и серая полынь; сырые трещины в глине обрыва покрыты круглым листом "мать-мачехи". Перепархивают серенькие пичужки; из кустов, со дна оврага, тянет влажным запахом гнили. Небо – чисто; одинокое солнце опускается в тёмные болота заречья. Над крышами Житной неохотно порхают белые голуби, под ними качается чёрное помело, сметая их из пустоты. Издали течёт сердитая воркотня города – звук невесёлый, тёмный.

В слободе, старчески взвизгивая, плачет ребёнок, этот плач напоминает чтение дьячка за вечерней, в пустой церкви.

Не спеша, задумчиво опустив лохматую голову, мимо меня идёт рыжая собака, с красными, мокрыми глазами пьяницы.

А за последним домом слободы, на краю оврага, лицом к солнцу, спиной к городу, стоит, словно собираясь улететь, стройный, тоненький мальчик, всему чужой, всё ласкающий неизменно неразумной улыбкой ангельских глаз. Мне кажется, что я вижу его золотистую родинку, так похожую на пчелу.

Через две недели после этого, в полдень воскресенья, он неожиданно и странно помер: пришёл домой от поздней обедни, отдал матери поданные ему милостыней две просфоры и сказал ей:

– Постели на сундуке, помирать лягу...

Фелицату не удивили эти слова, он и раньше, ложась спать, часто говорил:

– Помирать надо.

Ложился и, до времени, пока не заснёт, – пел тихонько свою песню и бесконечное, всегдашнее:

– Господи, помилуй!

Так и теперь он спокойно лёг вверх лицом, сложил руки на груди, закрыл глаза, но не пел, а тотчас заснул. Мать, пообедав, ушла к своим делам, воротилась домой перед вечером и когда, удивлённая долгим сном сына, пошла к нему, то увидела, что он мертвый.

– Гляжу я, – певуче рассказывала она слобожанам, сбжавшимся к её двору, – а и ноготки у него синие; ручки-то я ему перед обедней вымыла чистехонько, с мыльцем, так мне и видно – ноготки то не белые! Тронула за ручку его, а ручка окостенела уж.

Лицо у неё было испуганное, побуревшее, но сквозь слёзы в ласковых глазах блестели умиление, почти радость.

– Тут я вникла, пала пред ним на коленки, завопила: батюшка, куда ты? Господи, кого ты у меня итнял?

Склонив голову к левому плечу, заведя шельмоватые глаза под лоб и прижав руки ко грудям, она принялась вопить:

Ой, да погас голубой мой, ясный месяц,

Сокатилась моя тихая звёздочка,

Во тёмное она пала окиян-море,

Сокатилась звезда, ой, да – погасла.

А и до веку она, душа, не вспыхнет,

До второго-то Христовова сошествия не воспыхает!

- Да постой, погоди! - с досадой кричал Вологонов.

Я только что пришёл из леса и, стоя под окном Фелицатиной хижины, не узнавал озорниковатых слобожан: тихонько, подавленно гудя, перешептываясь, они приподнимались на носки, вытягивали шеи и, наваливаясь друг на друга, заглядывали в чёрную дыру окна, точно пчёлы в леток улья, и почти на всех лицах, во всех глазах трепетало напряжённое, пугливое ожидание чего-то.

Только Вологонов громко и властно говорил, толкая Фелицату плечом:

- Успеешь вопить, допрежде надо запомнить обстоятельства...

Женщина вытерла рукавом кофты мокрые глаза, облизала губы и, длительно вздохнув, уставилась в красное изжёванное лицо Антипы счастливым, сияющим взглядом хмельного человека. Из-под белого платка на виски и на правую щеку её выбились золотистые пряди волос; она казалась в этот час моложе своих лет, вся как-то выпрямилась, выше подняла голову, и грудь её, возбуждённо напрягаясь, растягивала петли кофты. Все смотрели на неё внимательно, молча и как будто немножко завистливо.

Старик быстро и сухо спрашивал её:

- На нездоровье не жаловался?

- Ничегошеньки не молвил, ни словечушка!

- Бит не был?

- Что ты, вековой, когда я его...

- Да - не ты!

- А этого - не ведаю. Тельце всё чистенькое, я рубашечку подняла, поглядела, - ничего нет, только на ножках царапинки, разве - со спины...

Она говорила новым, окрепшим голосом и, томно прикрывая сияющие глаза, тихонько, как-то сладостно охала, шумно и глубоко вздыхала.

Кто-то проворчал:

- Накатывает...

- Чего?

- Ярится, мол...

После десятка хорошо обдуманных вопросов Антипа с минуту внушительно помолчал и этим заставил онеметь всех людей, точно усыпил их. Потом заговорил, покашливая:

- Будемте думать, православные, что посетил нас господь велией его милостью, ибо по всему видать, что блаженный, светлый отрок наш - близок бысть преблагому устроителю живота нашего...

Я отошёл прочь; великая скорбь бешено сдавила сердце, и захотелось ещё раз взглянуть на Нилушку.

Хижина Фелицаты задней половиной осела в землю, а передняя завалилась, и единственное окно её, с подъёмной рамой, смотрело холодным стеклом далеко в небо. Я влез, согнувшись, в открытую дверь: Нилушка лежал близко к порогу, у стены, на узком сундуке; тёмная, кумачная наволока подушки хорошо выделяла его круглое, голубовато-бледное, простое лицо в золотом венце кудрей. Глаза были закрыты крепко и губы тоже плотно сжаты, а всё-таки казалось, что он тихо и радостно улыбается. Тонкие по локоть голые руки, сложенные на груди, и весь он, длинненький и тонкий, босоногий, лёжа на тёмном войлоке, теперь напоминал не ангела, а изображение святого отрока какую-то старинную, тёмную, с детства знакомую икону.

Нилушка. Максим Горький gorkiytext.ru

В синем сумраке совсем тихо, даже мухи не жужжали, только с улицы в стекло закрытого окна торкался сильный, шершавый голос фелицаты, легко выводя заунывный узор необычных слов:

Соприткнуся я грудью белою да жаркою сырой земле

Ты ль родимушка повадная, сыра земля,

Тебя просит, сердцем молит мать несчастная.

Да прими-ка ты усопшее дитя моё.

Моего ль сердца кровинушку рубинову!..

В двери встал, отирая глаза тылом ладони, Антипа Вологонов и выговорил – глухо дрожащим голосом:

– Знаменито вопит, шкурёха!.. Только не того часа стих взяла, этот стих вопят на погосте, у могилы... Всё надо знать... всё надо знать!

Крестясь неверною рукой, он смерил труп Нилушки внимательным взглядом, остановил мокрые, красные собачьи глаза на милом лице и молвил угрюмо:

– Больше стал, увеличила смерть. Да... вон оно! И я скоро вот эдак же окончательно выпрямлюсь. Мне – весьма даже пора бы!

Осторожно шевеля уродливыми пальцами, он стал оправлять складки рубахи усопшего, натягивал её на ноги Нилушки и чмокал тёмными губами.

Я спросил:

– Чего вы хотели от него, зачем учили разным словам?

Он разогнулся, тускло посмотрел на меня:

– Чего хотел-то?

И, смешно вздёрнув голову, ответил – как будто искренно:

– Не знаю, браток, чего мне хотелось, ей-богу, не знаю! Коли правду сказать перед ликом смерти, так надо бы мне сказать просто: всю долгую жизнь мою не знал я, чего хотеть лучше... Так, вообще... ожидал, что судьба подскажет. А моя судьба – безъязычна оказалась, вовсе немая. Да и глуха будто притом. Всё ждал, а вдруг что и выйдет, чудесное, нежданное?

Усмехнувшись, он указал глазами на труп отрока и более решительно продолжал:

– А – тут хотеть мне нечего было. Хоти не хоти, всё едино, ничего не достигнешь. Как и вообще, во всём. Фелицате – бабёнка хитрая, холодного сердца – ей, конечно, желается, чтобы сына блаженно-праведным признали, это бы ей на старость – кусок!

– Да ведь это вы же сами внушали ей, ведь и вам этого хотелось!

– Мне?

Он спрятал руки в рукава и скучным голосом, отрывисто сказал:

– Ну, и мне! А – что же? Это всё-таки утешеньишко людишкам-то... иной раз – жалко их, очень маотно живут, очень горько! А тут – жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника!

За окном пылало вечернее небо и разносился скорбный вопль:

Как прикроется земля-то снегом белым,

Во чистое поле выйдут волки лютые,

Нилушка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Заскорбят они, завоют о весне-тепле,

Тут и я с ними завою о мило'м сынке!

Вологонов прислушался и уверенно сказал:

- Вот это уж по-настоящему, яростно накатило на неё! Это истово-законно, да! Она ведь и в пенье, как в распутстве,- безудержная! Накатит на неё бабьего сердца грызь, и - нет фелицатке нигде предела... Её, однажды, молодые купцы по житной везли в коляске вовсе голую: сидят двое, а она промежду их стоймя - стоит в неприкрытом естестве - нате-ка, извольте! После, в части, едва не убили её до смерти...

Я вышел в тёмные тесные сенцы; Антипа, держась за меня, шёл сзади и ворчал:

- Всё - от великой-тоски.

Фелицата крепко стояла под окном, закрывая его спиной; прижав руки к грудям, она закинула в небо встрёпанную голову, платок сбился, вечерний ветер тихо перебирал рыжеватые тонкие волосы, осыпавшие её потемневшее, острое лицо, широко раскрытые глаза её безумно выкатились, и, необычная, жуткая, почти страшная, она неистощимо выла ещё более окрепшим, струнным голосом:

Ой, да ветры ледяные, злые, выюжные!

Вы сожмите моё сердце крепко-накрепко,

Одолеете, заморозьте кровь кипучую,

Чтобы мне её слезами всю не выплакать!..

Тесной кучей стояли пред нею бабы, жадно глядя в безумное, скорбно-окаменевшее лицо, и тихонько плакали. Через тёмное, мохнатое устье оврага видно солнце, оно опустилось ниже слободы, как будто навсегда хочет уйти в болотный лес. В красный диск его воткнулись острые, чёрные вершины елей, и всё вокруг красно, - словно раненое солнце истекает кровью.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!